

Посвящается Олегу Вите

Никогда не жалуйся на время,
ибо ты для того и рождён, чтобы
сделать его лучше.

Иван Ильин

Часть первая

ВЫШИВКА ПО ВОРОВАННОЙ ТКАНИ

Перед 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 7 ноября и Новым годом мать покрывала клеёнку на столе льняной скатертью, расшитой райскими птицами, и выводила на открытках дефицитной шариковой ручкой: «Поздравляю от всего сердца и всей нашей дружной семьи». Скатерть была из ворованной с фабрики ткани, но вышивала мать так, что вся Каменоломная улица умирала от зависти.

Это было единственным предназначением скатерти, поскольку гостей у Алексеевых не бывало. Но маленькой Вале казалось, что, когда мать пишет открытки, мрачная комната наполняется светящимся воздухом праздника, смехом и звонном тарелок, а райские птицы со скатерти разносят открытки адресатам в своих маленьких алых клювах.

Когда исполнилось одиннадцать, Валя спросила:

— Ма, зачем ты им пишешь? Ты ж их на работе видишь!

— Так у нас, кроме них, никого, — ответила мать.

— А бабушка Поля?

— Буду я на неграмотную свекруху открытку тратить? — буркнула мать.

И Валя подумала, больно ты грамотная, за такую открытку в школе бы вlepили двойку. Мать приехала из дальней деревни Прялкино, где родни не осталось. В первый класс пошла после войны, и больше времени проводила на огороде и скотном дворе, чем за учебниками.

Отец родился в ближней деревне Берёзовая Роша, где в большом доме с резными наличниками жила бабушка Поля. Учился хорошо, писал грамотно, знал наизусть стихи Есенина, но это ему вовсе не помогло.

Значимыми объектами городка, где встретились мать с отцом и появилась на свет Валя Алексеева, были ткацкая фабрика и щебёночный завод. На щебёночном заводе с адским грохотом размалывали грубые камни, а на ткацкой фабрике в мягком монотонном гуле собирали из ниток ткани с богатым рисунком.

Эти единство и борьба противоположностей городка настойчиво подсказывали маленькой Вале, что мужчины в принципе связаны с разрушением, грязью и насилием, а женщины с созиданием, чистотой и порядком.

Валина мать работала на фабрике в сказочном старинном здании из красного кирпича, а отца давно погнали с завода за пьянку, и он подтаскивал ящики к магазинчику, подсоблял в мелких конторках, возвращался пьяным и безобразничал.

Алексеевы жили в бараке на двенадцать комнат, матери как ткачихе-ударнице обещали квартиру, но очередь топталась на месте, а квартиры давали по блату. В барак на улице Каменоломная, по-местному «на Каменоломке», вело покосившееся крыльцо, за ним сени с тусклой лампочкой, от сеней в обе стороны коридорчики — каждый на шесть комнат. В каждой комнате по семье.

В четырнадцати метрах, принадлежащих Алексеевым, тесно стояли печечка с чугунной плитой сверху, буфет с цветными стёклышками в дверцах, никелированная кровать с горкой подушек, маленький Валин диванчик, шифоньер, круглый стол и старинный сундук из материного приданого. У двери железный умывальник, под ним тумбочка с ведром.

Пока отец и Валя спали, мать успевала растопить печечку и приготовить завтрак: жареную картоху, залитую яйцами, кашу с сосисками или тонкие кружевные блины. А в выходные чистила печечку, намочив золу, так, чтоб в комнате не осело ни одной угольной пылинки.

Уборная находилась во дворе, туда стояла очередь, зато она была «полутёплой» — одной стеной примыкала к дому. По дороге к ней зимой надо было отбиваться от закоростеневших на морозе постиранных вещей и постельного белья.

Рубашки нападали на детей вместе с ветром, лупили по лицу рукавами, хрустящие простыни и пододеяльники сби-

вали с ног. Но всё равно это было легче, чем в школе, где уличная уборная обмерзала так, что приходилось терпеть все уроки.

На гвоздик домашней полутёплой уборной были нанизаны аккуратно нарезанные газетные прямоугольники. Газеты родители не читали, но фабричный профком заставлял их выписывать. И в выходные мать с хрустом нарезала и раскладывала их в стопки: на сортир, на обёртки и на синяки.

Туалетную бумагу Валя впервые увидела восемнадцатилетней девушкой и тогда же осознала прямое назначение газет. Позже услышала по телевизору, что в СССР много рака прямой кишки, потому что люди экономят на туалетной бумаге. Но туалетной бумаги в городке не было ни в магазинах, ни у спекулянтов.

А намыленными хозяйственным мылом газетами «на синяки» Валя оклеивала материно тело, излупцованное отцом, — так бабы с Каменоломки лечили синяки и гематомы. А потом, как учила бабушка Поля, клала на травмированное место руки, пропускала через них солнечный свет, и боль уходила.

— Вся в бабку Полю, чистая колдовка! — восхищалась мать, а утром перед работой приговаривала: — Баба не квашня, встала да пошла.

— Ма, зачем он нам нужен? — спрашивала Валя, когда они с матерью волокли на кровать отвратительно храпящего отца, погромившего комнату и надававшего им тумачков.

— Без мужа жена кругом сирота, — машинально отвечала мать, ловко подстилая под мужа оранжевую аптечную клеёнку.

Под утро он начинал к ней лезть, и Валя с омерзением наблюдала это советское порно в щёлочку из-под одеяла.

— Зачем ты опять ему дала? — строго спрашивала она мать днём.

— Сыночку рожу, заступником вырастет, да на четверых квартиру дадут. Бабы показывали в журнале квартиру с кухней. Шкафы белые, как в больнице, плита на газу! Расти, доча, в Москву поедешь, будет у тебя такая кухня!

— Не надо нам сыночку, — мотала головой Валя. — Вырасту, сама заступлюсь.

Перспектива появления братика означала, что она, как соседские девчонки, станет нянькой вместо делания уроков и прогулок.

— Ма, а давай сбежим от него к бабе Поле в Берёзовую Рощу! — предлагала Валя.

— У свекрухи не спрячешься. Она ж болтает, что из-за меня пьёт.

— А сядем в поезд, уедем и спрячемся, чтоб не нашёл, — настаивала Валя и представляла, как они заживут вдвоём в маленьком домике, посадят возле него берёзки и заведут лохматую собаку.

— Так он без нас пропадёт, — откликнулась мать, потирая ушибленное мужем плечо.

После отцовых дебошей Валя не могла уснуть, сидела на уроках угрюмая, отсутствующая, словно спала с открытыми глазами, и учительница окликала её:

— Алексеева, проснись! Ты ночами что делаешь? На метле летаешь?

И класс хохотал, потому что Валю звали ведьмой с Каменоломки, хотя уважали и боялись. Ведь она умела снять руками хоть головную боль, хоть боль в животе при месячных. Не понимала, как это делает, но и не понимала, почему этого не умеют другие.

Бабушка Поля учила её на каникулах:

— Гляди, Валюшка, внутрь человека, где болит, там тёмное пятно. Как пятно нашла, покрестись, да пропускай сквозь него луч, пока не посветлеет да не позолотится!

Валя, конечно, не крестилась, но луч пропускала запросто.

Тумбочку, шифоньер и табуретки в барачной комнате Алексеевых по трезвому делу смастерил отец. А необыкновенные занавески, скатерти и покрывала вышила мать, но как ни старалась приукрасить комнату, всё здесь казалось серым и больным.

— Плохо живёте, Валюшку губите! Отдай в Берёзовую Рощу, сама вырашу, — просила бабушка Поля.

— Куда ж её от родных родителей? — качала головой мать.

И Валя понимала, матери просто страшно с отцом одной и нужен «живой укор». Утром за завтраком отец боялся смотреть в Валину сторону, но вечером всё повторялось по новой.

Бабы выносили с фабрики ткань, а мужики щебёнку, которой латали жалобный фундамент барака. Кучи щебёнки виселись по дворам Каменоломки, мальчишки кидались ею, а девчонки выкладывали из неё на утоптанной глине узоры. Валя в этом не участвовала, щебёнка казалась ей грязной и похоронной, ею была выложена насыпь у старого кладбища.

Валя была равнодушна и к школьной эстетике: не заплетала косу цветными атласными лентами, не носила после уроков самодельные колечки из цветной проволоки, не просила побыстрее проколоть уши, не надевала яркие пластмассовые заколки и ободки. И никогда не кокетничала с мальчишками.

Зимой вода в трубах уличной колонки замерзала «на кость», и мужики оттаивали её, ставили рядом ведра и разводили в них костры. Дети радовались и скакали вокруг огня, ведь им было строго-настрога запрещено прикасаться к спичкам — пожар считался самой страшной бедой.

Печки топились зимой так, что стены высыхали до звона, и бараки вспыхивали от любой искры. Люди едва успевали выпрыгнуть и выбросить в окна что-то из пожитков. Соседка, продавщица Клавка, твердила, коли собака воеет книзу — к покойнику, кверху — к пожару. И Валя изо всех сил прислушивалась по ночам к собакам.

Бабушка Поля считала, что, если вокруг пожара стать по углам с иконами, огонь остановится, но мать на это смеялась. А документы на случай пожара держала в старой сумке поближе к двери и инструктировала Валю, как хватать со стены фотографии в фанерных рамочках, с которых смотрели суровые лица её покойной родни.

— Мор, доча, по нашей линии, — вздыхала мать. — В Прялкино церкву ломали, батя опоры уволок, сарай справил. И как пошло, как поехало... Сам на вилы напоролся, маманя от жабы померла, брат Витюша спился, младшая Катя утопла. Одна я от смерти в город сбежала!

Курить в бараках Каменоломки запрещалось, мужики выходили для этого на крылечко, а заодно спорили, перекрикивая друг друга, о каких-то нерудных ископаемых, бутовом камне, фракциях щебня и вскрышных отходах.

Иногда дальний сосед, бывший моряк Наумыч, садился в коридоре поиграть на балалайке, жильцы подтягивались с табуретками и пели хором. Потом другой сосед, заводской мастер Кузейкин, привёз из города проигрыватель и две большие чёрные пластинки — Муслима Магомаева и Майи Кристалинской.

А когда у продавщицы Клавки появился телевизор «КВН» с линзой, началась новая эра. Телевизор стал для Вали окном в красивую справедливую жизнь. И ей ужасно хотелось разбить линзу и экран, нырнуть в «КВН» и вынырнуть на «Голубом огоньке» среди улыбающихся нарядных мужчин и женщин за столиками, оставив за собой дырку и ошмётки стекла.

Правда, там, среди абсолютно счастливых людей, она бы скучала по бабушке Поле и её большому надёжному дому в Берёзовой Роше. Скучала бы по огромному саду, по лохматой дворняге Дашке, по козе Правде, по кошке Василисе и даже по гусям.

Бабушка Поля была неграмотной, а партийный сосед, фронтовик Ефим, выписывал газету «Правда». Он заходил, скрипя костылём, хлюпая галошами и хрустя свежей газетой, садился на крыльечке и «делал политинформацию».

— Брехать не цепом мотать, — отмахивалась бабушка Поля.

— Брехней много, «Правда» одна, — обижался Ефим. — Слушай сюда про Хрущёва.

— Больно надо, твой Хрущёв мне все яблони погубил, — она не могла простить хрущёвского указа, увеличившего сталинский налог на плодовые деревья. — Какая была грушовка, антоновка, белый налив, жёлтый аркад? Жри теперь, Фимка, пироги не с яблоками, а с правдой своей!

— Сельскохозяйственной политики страны, Полина, не понимаешь, — оборонялся Ефим. — Тебе Никита Сергеевич пачпорт скоро выдаст!

— И чё теперь с им делать? Поди, и без пачпорта на кладбище снесут!

Она вставала руки в боки и голосила частушку:

— Вышла б замуж за Хрущёва,
да боюсь одного,
говорят, что вместо...
кукуруза у него!

— Не ори, дура! Тебя посадят и меня за недоносительство! — стращал Ефим.

— А мамка Хрущёва любит, — сказала как-то подросшая Валя бабушке. — Он ей два выходных дал.

— То в городе выходные-проходные, у нас-то всегда работа, — напомнила бабушка. — В моё-то время матеря на третий день опосля родов хлеба месили, да печь топили. А коли лето, в поле с дитём, потом им живот срывало, да золотник опускался!

— Где у них золотник?

— Кузовок, где дитя в животе.

— Бабушка, это называется матка, — поправляла образованная соседскими девчонками Валя.

— Да хоть матка, хоть батька! Все ко мне шли!

Лечиться к ней ходили со всех окрестных деревень. Сосед Ефим вернулся с войны доходягой, боролись с его чахоткой грамотные врачи в госпитале, да без толку. Таял на глазах так, что жена договорилась втихаря с колхозным плотником про гроб. Но бабушка Поля упрямо топила на печке берёзовые почки в свином несолёном сале и заставляла Ефима мазать это на хлеб. И ведь выправился!

По праздникам накрывали стол в горнице или у Ефима, шутили, смеялись, выпивали. И бабушка Поля после пары рюмок облепиховой настойки затягивала красивым низким голосом любимую песню:

Напилася я пьяна,
Не дойду я до дому...
Довела меня тропка дальняя
До вишнёвого сада.

Там кукушка кукует,
Моё сердце волнует.
Ты скажи-ка мне, Расскажи-ка мне,
Где мой милый ночует...

Бабушка была высокая, статная, одевалась строго, но умела выглядеть нарядной. В праздники белый воротничок её блузки перекликался с седой косой, заколотой на затылке, а в будни коса пряталась под платком. Козу Белку бабушка, подсмеиваясь над Ефимом, перекрестила в Правду. И стоило ему зайти с политинформацией, демонстративно звала козу:

— Правда, Правда, Правда! Где ж ты, окаянная? Все-то коз на мясо порубали, а я за Правду Никитке налог плачу!

На самом деле козу она не зарубила, чтоб поить Валю козьим молоком. Ведь у бабушки Поли тоже не было никого, кроме внучки и её непутёвого отца. Кто на войне погиб, кто ушёл по болезни.

Валина мать так и не родила сыночку, беременела каждые полгода, но скидывала и скидывала, теряя уйму крови и сил. А через много лет Валя услышала, что работницы ткацких цехов и стюардессы из-за вибрации рабочего помещения страдают невынашиваемостью. О том, что к этому добавлялись побои отца, она не задумывалась.

Отдельную квартиру дали, когда Валя училась в седьмом классе. Мать была броская, красивая, фигуристая, и маленький жирный чиновник из городского начальства не давал ей проходу. Мать воспитали в деревенской строгости, но соседка, продавщица Клавка, давила ей на совесть.

Валя слышала, как Клавка хвастала, что достала матери для этого дела иностранный лифчик и трусы с кружавчиками, а потом стояла на стрёме в ответственные часы и минуты. И не прогадала.

Когда Валина семья выехала из Каменоломки в хрущёвку с двумя отдельными комнатами, Клавка прибрала освободившуюся комнату в бараке для свёкра и свекрови, потому что жить впятером в одной комнате было невыносимо, а на её прелести городское начальство не зарилось.

Отдельная квартира означала переход в другой слой общества, и мать тут же записалась в местком на холодильник и телевизор. Раньше их и ставить было некуда. А после этого деловито подала заявление в кассу взаимопомощи и подсчитала, что расплатится за несколько лет.

С холодильником началась царская жизнь, ведь раньше даже сливочное масло стояло в буфете в банке с подсоленной водой, а почти всё, что мать приносила из магазина, полагалось в тот же день съесть или выбросить. Не было смысла и вывешивать в холода еду за окно, потому что там умело орудовали вороны.

Бабы в цеху завистливо прозвали мать Галкой-подстилкой, хотя ни одна из них и сама бы не упустила такой возможности. Ведь квартиры от фабрики давали только родне начальства и сексоткам, стучавшим, кто, сколько ткани вынес с фабрики.

Все выносили примерно одинаково, но задабривали сексоток гостинчиками, хотя только слепой не видел, во что одеты, на чём спят и чем занавешивают окна работницы ткацкой фабрики, как, впрочем, и их родня по всему Советскому Союзу.

Мать, как все, выносила с работы под платьем и ткань, и нитки, чтобы создавать из них дома прекрасные параллельные миры. В этих мирах овечки паслись возле причудливых замков, медведи встречали утро в сосновом бору, а счастливые девушки танцевали на Красной площади в юбках солнцеклеш.

— Золотые руки! — ахали соседки.

А Валин прекрасный параллельный мир находился в деревне Берёзовая Роща, где бабушка Поля копалась в огороде, крутилась у печки, принимала больных или бродила с Валею по лесу, собирая грибы и целебные травы.

Берёзовая Роща была неперспективной деревней — сельпо, колхозная контора и школа находились в перспективной деревне в пяти километрах. Там в клубе крутили кино, устраивали танцы, а в побелённой комнате сельсовета посреди стеклянных шкафов сидел фельдшер в очках.

Но его вызывали, только если телилась корова, а у ветеринара запой, лечиться всё равно ходили к бабушке Поле.

— Потому ко мне ходят, что в Берёзовой Роще вся сила, — объясняла бабушка Поля. — Как листики на берёзе распустятся, собирай серёжки. Две трети серёжек на одну треть водки, да на две недели в погреб. Через тряпочку цедишь и по